

Николай БОЛДЫРЕВ-СЕВЕРСКИЙ

ПРЫЖОК АНДРЕЯ ТАВРОВА

1

Огромную (по количеству знаков, символов и контекстов) книгу Андрея Таврова «Проект Данте»¹, выписанную мною через «Ozon», я никак не мог воспринять, раз за разом я раскрывал том, начинал в разных местах, листал, блуждая по аллеям и террасам информационных (так мне казалось) лабиринтов. Книга не открывалась, ключа у меня не было. Меня раздражало многообилие экзотических лексем, мифологических имен и аллюзий, редких слов, словно бы поэт странствовал не по жизни своей, а по культурным закоулкам, где находилось место и научным гипотезам. Том, казалось, ломился от перегрузки вещами, понятиями, фантазмами. Так длилось пару лет. И вдруг я изменил угол зрения. Я вспомнил реального Андрея Таврова, вспомнил реальность его человеческой оптики. И посмотрел его взглядом. Распахнул книгу, и она открылась на 41-й странице. Я начал читать и потонул.

...То, что потом встретишь,
ты вылепливаешь это здесь, став богом однажды
внутри бога, и не понять, чье сердце
бьется в вас, кто больше благоговееет, свят,
кто из кого лепит, кто из какой жажды

рождает колодец, стакан воды в кафе над рекой.
В кого погружаешь руки, и он превращается в голубя
с россыпью капилляров, а ты, как хилер слепой,
ходишь на четыре стороны, от зрения золотой,
с подковами слов под языком, с виноградом свирели за веком?

<...>

Адам блаженной полноты,
меж рук летают цеппелины и планеты,
у ног трава шумит – в ней спят поэты
и трубадуры, и драконы, и сады,
и руки, как кроты, ломают света яблоки под глиной.

Он был невидим. Мир его обнаруживал,
как айсберг трещину, становясь двумя.
Он был внутри всего, его клевал фазан и шмель обезоруживал,
им тешился Парис, Елену ставя в позу Пасифаи.
Он был Христос. И он был я.

Чтение стало восхитительно свободным, словно бы я встретил новое ожившее движение души Уолта Уитмена с его космологическим дыханием, с его трансцендентализмом от Эмерсона, в свою очередь получившего бездонную весть от индийских Вед. И с этого момента, в каком бы месте я книгу ни раскрывал, на меня обрушивалось мощное дыхание морского ветра, нет – того бытийного океана, чьи волны и

¹ Андрей Тавров. Проект Данте. – М.: Водолей, 2014. – 384 с.

брызги, и чей ветер, и чья глубина – равно материальны и сверхъестественны, призрачны и тленно-сладостны.

Отсюда видно, что каждый живой – звезда.
Что никто не умрет, ибо Звезда – Господь.
Я стою на мыслящей сфере – она чиста.
Я вижу вещи как путь от края моста
до другого края – и это надо замкнуть.

В примечаниях автор указывает, что «отсюда» – это с вершины Голгофы и одновременно с высоты Перводвигателя в начале каждого духовного цикла.

Но что значит это постоянное «стать однажды богом внутри бога» или: «Он был Христос; и он был я»? Не нахальство ли вослед за Маяковским? Ничуть. Внутреннюю этическую парадигму своих стихов Тавров однажды так выразил в письме: «Христос, говоря, что я и Отец – одно, говорит абсолютно смиренную вещь, он этим полностью отказывается от “своего особого” существования, своей особой воли, своеволия, гордыни, подчинив себя Высшему в себе».

2

Что же так долго мешало мне услышать волнуемое море «Проекта Данте»? Я уже сказал: меня раздражал громадный словарь, похожий то на нарочитость, то на жадную всеядность, свойственную тлетворному духу времени. Мне, человеку скорее даосского, нежели какого другого склада, неизменно претит приобретательское, накопительское влечение к всезнайству. Мне в поэме почудилась популярная поэтическая болезнь: страсть к демонстрации владения сонмом «вещей познания». Кто только на это ни покупался в прозе и в стихах в последние десятилетия.

И вдруг я вспомнил фрагмент моей эпистолярной беседы с поэтом, где он признавался в особенностях своего природного аппарата: всякую ментальную вещь, «абстрактное» переживание, всякую «книжную» историю или образ он всегда воспринимал как живую, явленную всем его чувственным рецепторам реальность. Я вдруг ощутил, что для него нет «информационных» или чисто интеллектуальных впечатлений, они все сплошь мифологически живые и вещно-чувственные, подобно цветку или удару мяча в грудь. И даже мистические впечатления столь же явственно-чувственны и осязаемы, как ощущения, скажем, бредущего по лужам. Вот в этот момент я и посмотрел в лицо его книги как в живой опыт, идущий с детства; и ни одна персоналия, ни один символ или иератический знак уже не был пустым информационным или символическим ярлыком, погремушкой фокусника: так однажды Уитмену задышали в лицо Упанишады, и вещный мир зашевелился в совершенно ином, воистину в поэтическом смысле, то есть в смысле изначально-целостного перводвижения.

Кто тобой стоит, для кого разрыт?
Это небо кто до ребра вскопал,
до кости в кого полнозвучно влит,
до горсти кого веком теплым сжал?
Кто тобой блажен, кто в тебе блажит?

Порой поэт отвечал на мои к нему вопросы, связанные с его мировоззрением.

Лев состоит из себя и из розы, вынутой изо рта,
в солнечных весь шипах по небу идет, рычит.

Мир состоит из букв, как из подков Орда.
Ты состоишь из брызг, окутавших рта магнит.
Мать состоит из себя и Бога. Она молчит.
<...>
Мертвец состоит из букв, их всасывает земля,
испаряет черная роза, испачканный лев.
Живой состоит из букв и золотых колен,
из потерянной буквы и самого себя.
Чтобы это понять, необходим прыжок.

Поиск священных следов буквально магнетизирует поэта. У Таврова это выливается чаще всего в ощущение, в острое чувство недостающей буквы из божественного алфавита, создавшего универсум и пронизывающего нас как основа основ. Эта затерявшаяся, выпавшая где-то в пути из поля внимания цивилизации священная буква тайно присутствует, но ее никто кроме (немногих) поэтов не видит, и если она совсем пропадет из поля видимости-ощутимости (звучащая мистериальная фонема), из поля живого ее переживания, случится Катастрофа. Собственно, в известном смысле «Проект Данте» есть проект попытки восстановления ауры этой недостающей буквы, ибо алфавит для поэта – это алфавит духовного основания, без которого всё осыпается и рассыпается в сугубую материальность, то есть в бессмыслицу.

Событий не существует. Существует дом,
ветер, мох на камне, краб на утреннем пляже,
переходящие друг в друга, не теряя себя,
дельфин с улыбкой Моны Лизы,
если говорить об общем пространстве.
Ни битв, ни империй – но плач и улыбка,
переходящие друг в друга, себя не теряя.

Водрузи алтарь ни на чём!
Гао Паньлун путешествует на лодке: нет вне сердца вещей...

3

Разбросанность (пространственная и хронологическая) символов, семантических ареалов и живописных штрихов в книге есть *кажущаяся* хаотичность. Это хаотичность для интеллектуального внимания. Для внимания поэтического (а без него поэзии нет) это прыжки как в детстве меж лужами. Сам Тавров называет эти полеты метафор трансцендентными прыжками, «которые сам малый разум-интеллект пережить не может». В этом-то парении в пространстве прыжков и заключена свобода глубинного («спинномозгового») познания. «Вот почему моя поэзия похожа на сыр Маасдам – вся “в дырках”...»

Более того, «Проект Данте» есть попытка выйти из импрессионистической фрагментарности и создать абсолютно целостную и законченную вещь, цельную структуру, на которую можно было бы опереться в эпоху всеобщего сползания в бездну. «Завершить вещь – это найти ее центр, ее абсолютный смысл, ее неповторимый способ единства со всей остальной вселенной. Это заставить вещь лучиться и жить. Это значит суметь заплакать о ней, если она исчезнет. Истинный плач соединяет нас с вечной жизнью, тем, что почти каждый практикует в пиковые моменты своей жизни. Чаша утра разбивается лишь в том случае, когда гитара плачет, и только в области плача Фетида выходит из моря к Ахиллу, а Яхве к Иову», – так он однажды писал.

Очень легко «отчуждиться» от мира, всегда «недостаточно чистого», всегда «недостаточно умного» и т.д., и т.п. Однако существо бытия всегда превосходит существо жизни, ее дикого и грубого витального то порыва, то переползания из лужи в лужу. Грязь ведь в этом смысле неизбежно чище всех цивилизованных площадей. Даже так. Но ведь есть и бытие, вписанное не столько в лужи, сколько в чистый полёт осознанности. В этом мощном потоке почти изначальных, во всяком случае заданных нам противоречий (речевых нестыковок) наша душа ищет себе истока и устья, всё более и более подозревая их в единстве, которому нужен орган познания-восприятия. Орган послушания в качестве органа наиглубочайшей свободы, которую не понять никаким гонором и никаким сговором. Ибо высшая музыка не сочиняется, она ангельски сводится в чистые дао-стоки (водостоки), и чистейшие города не строятся из мозговых планов. Всё высшее и наичистейшее промыто сладостной анонимностью, по мере возрастания которой ты умудряешься зрением льва и единорога иходишь в ту сферу, по которой когда-то тосковала-мечтала твоя сакральная жажда любви, которая непременно должна быть либо совершенно утаена, либо осмеяна, даже оплевана. Так что сочинительство стихов есть опыт возобновления плача того юнца, то есть в каком-то смысле это опыт самовысмеивания с тайной надеждой самопреодоления, утраты, размыва (потоками горных рек и ливней) самости как хватания за «волю-к-власти», породившую велиаровы энергии, их спутанные то ли горы, то ли волосы Береники. Не так легко нам развязать платок, где не видны узлы. Мы сами тот платок. Мы плач. Мы анонима-великана горсть. Мы горностая мех. Мы горе гор. В нас миллиарды створ.

4

У Таврова мир предстает мистическим коллажем, где информационная революция становится поприщем нового гиперсинтеза, где нет ничего лишнего, где ничто не отторгается, но всё благотельно, словно бы даже благодарно, *есть*. Гипернасыщенность сознания «предметами познания» становится здесь не адом, а новым раем, где течет поток сплошной мифологической влаги, не знающей стыда, как не знает ее вода у Лао-цзы.

С другой стороны, этот гигантский проект нового мифологизма становится неким героически-утопическим предприятием, где духу сознательно ставятся почти непомерные задачи. Все вещи мира пытаются быть сброшенными в сакральный поток, где лава будто бы никогда не остывала и не остынет. Здесь делается попытка (отнюдь не рационалистическая) ничего не отвергать, но всё, что было, и всё, что будет, *втолкнуть* (отнюдь не агрессивно, но жестом почти ангельски непринужденным, словно нечаянным) в абсолютное настоящее. Ибо во имя этого абсолютного настоящего и идет вся космическая игра. Абсолютное настоящее и есть та плавильня, где всё соприкасается со всем. Это, кстати, и есть центр мистерии Бёме, равно и всякого другого «божьего ребенка», является ли он Ахиллом, руел`ой или матросом на мачте (и многими другими возлюбленными персонажами Таврова), центр мистерии, которая никогда не исчезнет насовсем.

Герой Таврова пытается вполне естественно выстоять перед натиском вещей, порождаемых жадностью технологических умов. Он вписывает их в громадный контекст, идущий от дней Творения; и древо Сефирот, и вся мистика Кабалы здесь ему в помощь. Нас сносит «вперед», то есть в бездну. Как противостоять? Противостояния ведь были крайне редки, тем более у поэтов. Данте один из немногих. Григорий Померанц, не чуждый Таврову мыслитель, много писал о том, что возрождение души требует поворота сердца в вертикаль. «Чеслав Милош, у которого я заимствую образы “вперед” и “вверх”, говорил о подмене истинного “вверх” ложным “вперед”. Я думаю скорее о ритмической смене ценностных ориентаций. Чистого порыва вверх ни у какой цивилизации не было, это и в Средние века было достоянием одних монахов. Пожалуй, строго “вертикальной” была

разве цивилизация Древнего Египта. Египтяне строили пирамиды и совершенно не старались расширить свое культурное пространство...»

Нашей постцивилизации свойственно проклятие бешеной горизонтальной экспансии, куда идут почти все силы. По существу же, чаемая вертикаль, конечно, внутри нас, поскольку ничего кроме сознания в мироздании нет, и мир вещей, которыми оперирует поэт, есть игра наших «космических энергий».

Всякая вещь, хотя сама по себе и есть ангел, все же для нас – инструмент возрождения того, что некогда было рождено вблизи абсолюта. Она есть музыка, не слышимая внутри овнешненности. Но на путях мифологической игры мы «соприкасаемся руками». В известном смысле это линия рилькеанская – линия приятия и благодарения. Не полемика, не критика, не восстание «чистого» перед натиском «грязи». Поэт обречен на то, чтобы измысливать «царственную ложь», даже когда нас ведут на закланье или в газовую камеру, или на сердечную кастрацию. Ave! – кричит поэт в свой последний миг.

5

О чем же говорит этот большой том музыкальных поэм, лишь частично похожих на элегии, но большей частью фиксирующих те *видения* и *видения*, которых ищет душа, спасаясь от профанного хроноса? Том с его мощной (часто намеренно укрытой) ритмикой говорит о подступах к таинству «второго» рождения, которое есть свидетельство об абсолютном настоящем. О тропах говорит, ведущих к «таковости», рассеянной по временам и весям, которые на самом деле – в нас. Ибо только в ней пребывает и всё прошлое со всей суммой кипящих мифов, и всё будущее. Герой Таврова пробивается, прорывается к эпицентру *присутствия*, и в этом его тоска и страсть, в этом его, если хотите, мужество; в этом его дело, а не слово. Слово пройдет и переходит, а дело остается, ибо оно в тех паузах, в которых мы слушаемся, входя в послушание.

Важен момент, когда мы умолкаем. Но чтобы умолкнуть, надо что-то прежде сказать. Не всякий говорящий вслушивается в небеса молчания и в воды журчания: в два источника семантического вакуума, упокаивающего Землю, ее несомненно сакральное тело.

Живой состоит из букв и золотых колен,
из потерянной буквы и самого себя.
Чтобы это понять, необходим прыжок.